

Юлия ДОБРОВОЛЬСКАЯ

# СМОТРЮ НА ТЕБЯ

Роман с элементами эротики и крамолы

Юлия Добровольская

**Смотрю на тебя**

«ЛитРес: Самиздат»

2004

## **Добровольская Ю.**

Смотрю на тебя / Ю. Добровольская — «ЛитРес: Самиздат»,  
2004

Сорокалетняя Зоя, писатель-драматург, пять лет назад потерявшая зрение, приезжает с подругой и мужем в «Дом у Залива», где собираются творческие люди, связанные дружбой. Здесь она неожиданно встречает свою давнюю любовь и вспоминает своё непростое детство, дружбу с папой, первую влюблённость. Эротические сцены введены в роман как иллюстрация того, насколько чистыми, радостными и взаимообогащающими могут быть интимные отношения, свободные от страха наказания и чувства вины. Телесная близость, дополняющая духовное родство, любовь, дружбу, просто обоюдное влечение - такая же неотъемлемая и равноправная часть жизни, как и любая другая.

© Добровольская Ю., 2004

© ЛитРес: Самиздат, 2004

*Юлия Добровольская*

## **СМОТРЮ НА ТЕБЯ**

*Роман с элементами эротики и крамолы.*

**Часть первая**

**АНТОН**

*Дом у залива*

Я люблю этот огромный гостеприимный дом и бываю здесь часто. Для этого мне нужно всего-навсего потратить ночь на переезд.

Дорогу я тоже люблю. Люблю с детства – как наиболее обещающее и загадочное приключение. Будь то поездка в метро на другой конец Москвы, в пригородной электричке на дачу, или в такси на вокзал...

*Моё детство*

Больше всего я любила ездить по Москве трамваем. Папу всегда удавалось упросить сесть в такой ярко-игрушечный – хоть и настоящих размеров – вагончик, а маму почти никогда. На метро быстрее, говорила она, она всё предпочитала делать побыстрее. А папа иногда любил не спешить. И мы шли с ним через загадочные дворы – это было отдельным приключением! – на трамвайную остановку на соседней улочке.

Если народу в трамвае было немного, я садилась у окна, а папа рядом со мной. Но когда мест для двоих не было, я оставалась стоять рядом с папой, держа его за руку, кто бы и как бы ни уговаривал меня сесть.

Трамвай подпрыгивал на рельсах, как подпрыгивает на деревянном полу – если запустить его поперёк досок – тяжёлый металлический шарик из подшипника, который я выменяла у Гришки из соседнего подъезда на драгоценный сверкающий камешек из брошки. Мама, правда, очень не любила, когда я катала шарик по полу – её это раздражало.

Да, весело и добро погрохатывал трамвай всеми своими колёсами – словно рассказывал пассажирам какую-то бесконечную историю, которую можно слушать, а можно и не слушать, но всё равно приятно, что она звучит, – и задорно звенел колокольчиком.

Однажды, разглядывая рельсы, я подумала: почему на таких гладких и блестящих железных лентах трамвай подпрыгивает? Зная, что на любой мой вопрос папа всегда сначала ответит: а ты подумай! – я принялась размышлять и скоро раскрыла этот секрет. Трамвай тяжёлый, ведь он сделан из железа и плотного дерева, ещё в нём много людей – они тоже тяжёлые. От этой тяжести рельсы под трамваем прогибаются, повторяя выпуклости дороги, мощёной брусчаткой, – вот трамвай и подпрыгивает! Я выложила своё объяснение папе, и он принял его с удовольствием. Ты умеешь соображать, – улыбнулся он. Папа так никогда и не опроверг моих детских мудрствований – не успел.

Пригородные электрички я тоже любила, но по-разному, в зависимости от того, куда какая нас везла. Если к «тётке» – то меньше, а вот электричка к Таточке вызывала восторг. Забавно, что на даче у «тётки», у папиной тёти Корнелии, мне нравилось гораздо больше, чем у маминой подруги Таточки, но дорога к Таточке была гораздо длиннее... Это был один из парадоксов моего детства: отдельные части некоего события могли вызывать во мне такие

разные, если не полярные чувства. Вот хотя бы ещё пример. Я обожала предвкушение любого праздника, но ненавидела – до слёз! – его начало: ведь с началом начинался и его конец...

Но дороги это не касалось: даже если заканчивалась одна дорога – на дачу или домой, на вокзал или с вокзала, за ней непременно должна была последовать другая, ещё куда-нибудь. И уж если однажды на вокзал мы отправлялись в такси, это означало, что настоящее путешествие и настоящие приключения только начинаются – поэтому любой железнодорожный вокзал по сей день вызывает во мне особенный трепет. Тогда же это означало, что мы с мамой и папой какое-то время будем *жить* в вагоне бегущего по рельсам поезда, в небольшой комнатке с раздвижной дверью, длинным зеркалом в деревянной лакированной раме над каждой постелью, в котором отражается зеркало напротив, в котором отражается это зеркало, в котором отражается... и разными другими необычными вещами. И чем дальше дорога, тем дольше наша жизнь будет необычной. Нам в купе будут приносить еду в металлических судках, чай в стаканах с подстаканниками, детские и взрослые книги, газеты и журналы. Папа будет читать «Огонёк», мама какую-нибудь книжку, а я – листать «Крокодил». А ещё я смогу лежать на папиной верхней полке и смотреть в раскрытое окно, вдыхая запахи мироздания, сквозь которое несётся наш космический корабль... нет, тогда это называлось проще – ракета, – такой причудливой змеиной формы, что иногда я вижу его загнутый в сторону хвост, а иногда – выгнутый бок. Это занятие – смотреть в окно – конечно, интересней всякого «Крокодила» и любой книги. Оно никогда не могло мне надоесть, а если я и засыпала на своём посту, то только устав от обилия сиюминутных впечатлений и порождаемых ими грёз.

Да, в детстве я умела любое самое незначительное событие облечь в романтический флёр, и это так и осталось со мной.

### *Дом у залива*

В Доме У Залива, как все называют его с некоторых пор, всегда многолюдно. Здесь те, кого я знаю и люблю давно, и много новых людей – как и обычно. Те, кого знаю и люблю, интересны мне каждый своей неповторимостью. Незнакомую публику пока только прошупываю – есть ли среди них личность, в которой можно обнаружить что-то неординарное...

Скажу честно, я никогда не испытывала потребности в новых приятельских контактах, а тем более, в новых дружбах. Мне всегда хватало любимого – того мужчины, который был рядом со мной, – он восполнял мою нужду во всех возможных видах и подвидах человеческого общения. Ни с одним, никогда я не ощущала ни малейшего сквозняка непонимания, отчуждённости – даже при возможной разности взглядов. Наши души были пригнаны одна к другой, как кремнёвое точило и сталь клинка – когда одно, будучи приподнятым, увлекает за собой другое, и когда требуется немалое усилие, чтобы разъединить их.

Поэтому прошупывание это носит сугубо профессиональный характер – писателю, драматургу необходима постоянная подпитка новыми впечатлениями.

Хотя, возможно, всё совсем наоборот: возможно, я стала драматургом и писателем именно потому, что впечатлить меня может всё, что угодно, всё, мимо чего другие пройдут и не заметят. И не просто впечатлить, а тут же вызвать к действию некий творческий механизм, который, словно сам по себе, без моего участия вдруг начинает перерабатывать это самое полученное впечатление в какую-нибудь историю. Словно где-то в недрах процессора открывается вдруг файл, идентифицированный полученной мною чувственной информацией... Нет, лучше скажу так: словно где-то в секретном хранилище приоткрывается вдруг шкатулочка, одна-единственная из огромного множества, та, что опознана уловленным мною звуком, запахом, движением... любым ощущением или каким-то особым их сочетанием – приоткрывается шкатулочка, в которой покоилась до поры до времени неведомая мне история, она начинает струиться из шкатулочки неспешным причудливо извивающимся дымком – как от восточных

благовоений. Тогда мне остаётся только проникнуться её перипетиями и облечь в буквы. Фабула же этой истории, её настроение, её дух – всё это даётся мне уже готовым. И этому я не перестаю удивляться...

Я приехала сюда, в этот дом, с мужем и подругой. Впрочем, это наш обычный состав – на всех более или менее значимых и более или менее интересных мероприятиях мы вместе. Мы вместе со дня нашего знакомства, то есть... то есть, уже двадцать шесть лет...

Моё внимание привлекают два голоса из разных концов дома. В кухонном отсеке между столовой и гостиной какая-то женщина говорит по-испански, а за моей спиной – похоже, около роля – низкий мужской, чуть приглушённый. Оба звучат волнующе... Я люблю голоса, в которых слышится нечто более существенное, более ёмкое, чем элементарные физические колебания пространства, являющие собой какую-либо словесную информацию. В этом смысле голоса, произносящие непонятные тебе слова – наиболее чистый материал для эмоционального исследования.

Но я отвлеклась. Мне хотелось бы предварить нынешний момент историей моего знакомства с подругой и мужем.

### *Двадцать шесть лет тому назад*

Мы с Дорой при первой же встрече потянулись друг к другу.

Познакомили нас наши тётушки. Когда-то они учились в театральном на одном курсе, а потом разъехались: моей предложили место в Питере, а Дорина вернулась в Ярославль. Случилось наше знакомство ранней осенью – пятнадцатилетие их выпуска, встреча в стенах alma mater, где теперь училась на художника по костюмам Дора. Я, кстати, только что поступила в МГУ на филфак.

Мы обе в то время ещё не тянули не то что на богему, но и на студенток-то не очень походили. Две прилежные школьницы, строгого воспитания девочки, едва вылупившиеся из детства с любимыми куклами, книжками, домашними заданиями, школьными кружками и комсомольскими мероприятиями, неизбалованные ни модной одеждой, ни тем более, *фирмой* – вот и прилепились сразу одна к другой в сутолоке взрослой артистической вечеринки.

После капустника и банкета, уже под утро, тётки потащили нас к своему сокурснику, который жил неподалёку в огромной настоящей старой московской квартире. Компания собралась небольшая – человек десять-двенадцать самых трезвых, стойких и заводных.

Помню музыку – ею тогда бредила студенческая и прочая продвинутая молодёжь. И я, и Дора только вливались в ряды той самой молодёжи, только постигали открывающееся перед нами пространство и его горизонты, но всё, что принадлежало нашей новой, нашей будущей жизни, мы принимали жадно, не фильтруя. Или почти не фильтруя...

Как выяснится после, ни Дора, ни я не смогли принять непечатные слова и выражения как неременную составляющую лексикона «свободного от условностей и ханжества нового поколения». Вероятно, мы не были ни настолько свободными, ни настолько «современными», чтобы играть – а то и с шиком или вызовом, как некоторые, и даже многие – произносить слова, которые у меня лично всегда ассоциировались с дном, беззаконием, опасностью тёмных подворотен, но никак не с романтикой, которой принадлежало понятие «свобода». Правда, со временем, когда меня перестанет шокировать и вгонять в краску любое услышанное матерное слово, когда я привыкну к тому, что это – лишь невинная часть молодёжной субкультуры, такой же невинный протест против лицемерных норм общества, в котором мы живём – как оказалось, ха-ха, этого я тоже очень долго не понимала! – когда увижу, что некоторым даже *к лицу* такая

вольность, я попробую всё же освоить эту лексику. Но надолго меня не хватит. Всякий раз, отходя ко сну и по привычке перебирая в памяти прожитый день, я буду спотыкаться об эти неуклюжие потуги казаться *своей* среди тех, с кем связана моя жизнь на пять ближайших лет. Я буду краснеть в темноте ночи перед самой собой, перед папой, который – я была уверена – всё знает, видит и слышит, который ни разу на моей памяти не произнёс ни одного даже просто грубого слова. И однажды я решу: «хватит заигрывать с ними, пусть лучше они заигрывают с тобой, если им это надо!».

Возможно, именно тогда я впервые задумаюсь о понятиях «человек» и «социум», «свобода» и «долг», о том, где кончается одно и начинается другое, и где же в этом огромном мире, среди бесконечного числа взаимосвязей всего со всем моё собственное место. Скорей всего, именно тогда я впервые начала осознавать себя собой, а не частью своей семьи, которой когда-то были мама, папа и я, и понимать, что окружающий мир – это то место, в котором мне предстоит отныне жить.

Вот и общество моей тётушки – наших с Дорой тётушек – было частью этого большого, нового и неизведанного, и мы с жадным любопытством вглядывались во все его проявления.

Да, музыка... То обстоятельство, что «старики» секут в ней не меньше наших ровесников, возвышало их и в то же время уравнивало с нами. Музыка выполняла роль знака, меты, отличавших тебя и твоих единомышленников от всего остального мира. «Скажи мне, что ты слушаешь...» – буквально служило паролем для определения «свои» или «не свои». Дальше – уже среди «своих» – происходил отбор более высокого порядка: «как тебе новый состав тех-то?», «ты слышал последний альбом таких-то?» – и тому подобное. Правда, и к музыке этой я ещё пока имела лишь косвенное отношение: я не была знакома с ней так близко, как мои ровесники, мои нынешние сокурсники, которые, как оказалось, вообще знали гораздо больше меня и гораздо лучше меня ориентировались в этом многослойном мире и в этой неоднозначной жизни. Но музыка эта сразу тронула душу, а потом и покорила, заставив на время отодвинуть в сторону то, на чём выросла я – а это были любимые папой Окуджава, Высоцкий, Чеслав Немен и Битлз.

Разговоры друзей наших тётушек – в отличие от музыки – были не совсем и не во всём понятны нам, но мы хотели и старались быть причастными – мы выпитывали всё, что могло послужить сближению с этим неведомым народом.

Хозяин квартиры, Антон, в те времена был широко известным в узких кругах театральным режиссёром. Учился он с нашими тётками на актёрском, но к концу учёбы все уже понимали, что это Богом меченый режиссёр. Теперь-то его знает весь цивилизованный мир, имеющий хоть какое-то касательство к театру.

Антон понравился мне сразу. Я увидела в нём папу с его добротой и жертвенностью, которые, как я теперь понимаю, являются признаком недюжинной силы духа. Хорошо скрываемая печаль таилась в глубине глаз – такая одинаковая у обоих! И особенно щемлящая – почти на грани скорби – в те моменты, когда лицо озаряется улыбкой.

Ну вот, теперь надо про папу рассказать. И про маму, конечно, тоже...

### ***Моё детство***

Я помню постоянное напряжение в ожидании вечера: будет ли он мирным, спокойным или с грохотом рухнет в тартарары, надолго оставляя в душе чувство досады. Досады на себя – за то, что глупо, слепо, неистребимо верил в несбыточное счастье покоя, вместо того, чтобы быть готовым к правде жизни. И ещё пронзительное осознание незащищённости надолго оставалось в душе. Крепкие стены, надёжная крыша хранили тебя от дождя и мороза, и даже,

наверняка, от бурь и землетрясений, но только не от таких эфемерных вещей, как чьё-то скверное настроение.

Это позже я узнаю, что последние годы моя мама была... ну, если не алкоголичкой, то что-то около того. А тогда я ничего не понимала: папа, такой спокойный, добрый, хозяйственный вечно вызывал недовольство мамы. К чему она только ни придиралась! И вспоминать не хочется...

Когда она приходила в хорошем настроении, мы с папой были на седьмом небе и боялись спугнуть эту хрупкую радость чем либо: громким голосом, неверным словом или движением. Мы услужливо предлагали маме ужин, мы осторожно рассказывали ей наши – но только приятные! – новости, мы усаживали её на диван и спрашивали: «ты считаешь, или телевизор включить? не холодно ли тебе? не жарко ли?..» Папа осведомлялся, что из одежды приготовить ей на завтра – потому что, если утром она обнаруживала невыглаженную юбку, это могло отравить нашу жизнь на ближайшую неделю. Когда мама шутила, мы с папой смеялись её остроумам до упаду – мы просто надрывали животики.

При этом нам категорически не следовало выказывать любовь друг к другу – любимой у каждого из нас должна быть только мама. Чтобы подчеркнуть это, мы время от времени конфликтовали с папой – маме нравилось мирить нас и ощущать себя единственным связующим звеном.

– Вы бы давно загрызли один другого, если бы не я, – часто повторяла она бесцветным голосом.

Тишина и покой могли длиться не больше нескольких дней. Потом наступал срыв по какой-либо причине, и наша жизнь превращалась в ад.

Маму не радовали ни мои круглые пятёрки – а училась я только для неё, ни чистота и порядок в квартире – тоже исключительно для мамы. В спокойном состоянии она не замечала ничего, она делалась отстранённой даже от самой себя, где-то *над* и *вне* всего окружающего. Но в гневе от её взгляда не ускользала ни одна пылинка, ни одна моя четвёрка, ни одна оторванная пуговица на папиной рубашке.

Иногда мама не возвращалась с работы, и тогда папа говорил, что она уехала в командировку.

Мы объединялись в нашей грусти. Не скрывая чувств, мы заботились друг о друге с той предупредительностью и нежностью, которая переполняет близких людей после долгой-долгой разлуки.

В такие дни, точнее – ночи, я спала в родительской постели с папой. Это наслаждение, пожалуй, было сильнее и глубже, чем печаль по отсутствующей маме – притом, что печалило меня вовсе не её отсутствие, а печаль папы, которую он тщетно пытался скрыть.

Мне до умопомрачения нравилось лежать щекой на папиной крепкой мохнатой груди: одна его рука обнимала меня за плечо, другая теребила мои длинные волосы или гладила по щеке. От папы пахло душистым мылом или одеколоном, которым он растирал щёки после бритья, и ароматным трубочным табаком.

Однажды мама, глядя в телевизор, заметила, что, по её мнению, трубку курят исключительно мужественные мужчины, а папиросы и любой дурак курить может. С тех пор папа курил только трубку. Тогда меня несколько задело и это мамино замечание, и папин немедленный отклик на него – я-то считала папу образцом мужественности во всех отношениях. У меня не вызывало сомнений, что настоящий мужчина должен выглядеть именно так, как мой папа. И поведение, и манеры его, которые отличались сдержанностью, деликатностью, уважительностью ко всем окружающим и всему окружающему, в моём понимании были не иначе как прямым проявлением той внутренней силы, что и является признаком настоящего мужчины. И умение делать абсолютно всё – от стирки, глажки и готовки до строительства шалаша в лесу,

управления моторной лодкой, рыбалки и охоты – тоже, разумеется, причислялось мною к этим самым признакам.

Лежала я в такие ночи на папиной груди совершенно счастливая, не думая ни о чём, что не касалось нашего общения – боясь спугнуть опасениями, ожиданиями, или какими-то другими чувствами и мыслями этот прекрасный момент «здесь и сейчас». О чём мы только с ним ни говорили! Больше, правда, мне нравилось, когда говорит папа. Да и что я могла ему рассказать: как придурок Лёнька насыпал кнопок на стул нашей русице – моей любимой учительнице, или Колька на уроке химии что-то подмешал в порошок, с которым мы должны были проводить опыты?.. Это всё папа и без меня знал – из своего детства. Зато папины рассказы открывали мне целую вселенную, ключ к которой имел только он, и которая без него так и осталась бы сокрытой от меня.

Папа пересказывал мне разные интересные истории: и длинные, с продолжением, романы, и короткие рассказы – всё, что проходило через его руки в редакции крупного литературного журнала, и многое из чего так и не попадало тогда в печать. Моё богатое воображение тут же переводило звуковой ряд в визуальный, и я оказывалась в некоем параллельном мире, населённом *другими* людьми, живущими *другой* жизнью, по *другим* правилам. У этих людей были необычные имена. А если даже и обычные, привычные, то звучали они всё равно как-то по-другому, не буднично, и жизнь у них была совсем необычной, небудничной. Я закрывала глаза, чтобы лучше видеть подробности происходящего в папиных историях – так, вероятно, и засыпала. И сны мои, скорей всего, становились продолжением тех рассказов, потому что в них, в моих снах, как и в папиных историях, обитали только красивые, благородные люди, живущие идеалами красоты и благородства, и совершающие красивые, благородные поступки.

Ещё в мамино отсутствие папа мог меня купать, как в детстве – едва мне исполнилось десять, мама запретила нам эти процедуры. Так вот, когда её не было, я просила искупать меня каждый вечер.

У меня уже пробивались волосы в нужных местах и наливались молочные железы. Я этим страшно гордилась перед папой и нарочно ойкала, когда он касался мочалкой груди, и говорила:

– Осторожней, пожалуйста!

По-прежнему папа в определённый момент говорил:

– Так, попку и кнопку мой сама.

Как-то я сказала:

– А ребята называют это письюкой.

– Это грубо, – сказал папа.

– А что не грубо, – спросила я, – писечка?

Он засмеялся:

– Это не грубо, только не везде стоит произносить подобные слова.

– А с тобой можно? – Спросила я.

– Со мной можно, – сказал папа.

– А почему ты не можешь помыть мне... кнопку?

– Потому, что девочка должна уметь делать это сама.

Но мне хотелось, чтобы папа всё же как-нибудь нарушил это установленное кем-то правило...

\* \* \*

Однажды мы поехали отдыхать в Крым.

Я перешла в седьмой класс и романтизма во мне к тому времени только прибавилось, хоть больше, казалось, уже некуда.

Меня приводило в восторг всё. Абсолютно всё. И ясное синее небо, и апоплексический ливень, который мог неведь откуда рухнуть вдруг среди дня, и жёлтый песок городского пляжа, и коричневые скалы Коктебеля, и роскошный ресторан «Астория» с белыми крахмальными скатертями и салфетками трубочкой, и нежная варёная кукуруза, купленная на набережной у какой-нибудь приветливой и аппетитной тёти, и совершенно невообразимый где-нибудь в Москве южный рынок... Но главное – это весёлые и счастливые мама с папой.

Мы снимали комнату в частном доме недалеко от моря – мы всегда останавливались у одних и тех же хозяев.

Дом, в котором мы жили, был окружён огромным фруктовым садом, и нам иногда предлагали собрать абрикосы или яблоки – для себя, сколько надо, а чтобы не платить за них, поработать немного на хозяев.

Как-то мы отправляли на чердак собранные яблоки – я подавала снизу корзины, папа поднимал их по стремянке, приставленной к фронтому крыши, к небольшой квадратной дверке в нём, а мама раскладывали их в соломе наверху.

Прошло какое-то время, а папа всё не появлялся мне навстречу. Я стала подниматься по ступенькам, с трудом таща нелёгкий груз. На середине пути я вдруг услышала мамины сдавленные стоны и хриплый папин голос. Он повторял всё время одно и то же – что-то вроде: «милая, милая моя, любимая, тебе же хорошо со мной?.. скажи, тебе хорошо?.. моя милая, я люблю тебя... как?.. скажи, как?.. я люблю, люблю тебя...»

Я спустилась с лестницы, пошла в нашу комнату и села на свою раскладушку. В душе царил полное смятение, а в голове мутилось, как при высокой температуре. Жар волной прокатился по всему телу, потом постепенно сосредоточился в одном месте – в паху – и пульсировал с частотой ударов сердца. Моя ладонь безотчётно легла между ног, словно желая прикрыть источник огня, загасить разгорающееся там пламя. Но вместо этого возникли совершенно новые ощущения – прикосновение вызвало судороги по всему низу живота, пальцы просились дальше и дальше. Я раздвинула ноги и положила руку в трусики – там было горячо и влажно.

Кончилось всё сладкими содроганиями, исходящими откуда-то из неведомых доселе глубин моего нутра.

Я пришла в себя, когда услышала, что на крыльцо кто-то поднимается. Вошёл папа.

– Что с тобой, – спросил он, – устала?

– Немного, – сказала я.

\* \* \*

Мне часто хотелось, чтобы папа, купая меня, прикоснулся к тому месту, которое оказалось источником столь приятных, ни с чем другим не сравнимых ощущений. Однажды я набралась смелости и сказала:

– Погладь меня вот тут.

– Что это ты вдруг? – Удивился папа.

– Ну погладь. – И я положила его ладонь себе между ног.

– Ты понимаешь, что это такое? – Спросил папа, серьёзно глядя на меня.

– Мне приятно, – сказала я, – когда здесь гладят.

– И кто же тебя здесь гладит?

– Я сама. – Не стану же я говорить папе о наших с Пашей прошлолетних опытах!..

– Только сама?

– Конечно, только сама... но я хочу, чтобы ты...

– Нет, – сказал папа и вышел.

Больше он не купал меня с тех пор.

– Ты уже взрослая, – говорил он.

\* \* \*

Я училась в десятом, когда мама покончила с собой.

Мне тогда сказали, что она умерла от удара, упав на цементный пол в ванной.

После похорон папа лёг в постель и закрыл глаза.

Он умирал несколько дней – просто лежал, не поднимаясь, не шевелясь.

Я трясла его, обливала водой, стаскивала с постели. Я кричала и ругалась грязными словами, слышанными во дворе, которые неуклюже произносила вслух впервые в жизни.

Я обвиняла его в эгоизме:

– Ты бросаешь свою единственную дочь, тебе плевать на меня, ты только эту гадину и любишь!

Я обличала:

– Ты всю жизнь пресмыкался перед ней, – я не могла произнести слово «мама», – а она ненавидела и презирала тебя!

Потом я меняла тактику. Прижавшись к нему, я ласкала его, целовала лицо и шептала:

– Я похожа на неё, ты меня любишь, а я люблю тебя, и буду любить, как никто не умеет, как *ей* и не снилось... я буду твоей женой, я уже взрослая и знаю, что мне нужно делать...

Мамина сестра, моя тётушка, тоже пыталась сделать всё возможное, чтобы вытащить его из состояния прострации. Но папа отключился от внешнего мира. Мы и не знали, слышал ли он нас...

Казалось, мне оставалось только или сойти с ума, или последовать папиному примеру.

Но в тот момент, когда кладбищенские работники прихлопывали лопатами землю на его могиле, рядом со свежей маминой, я вытерла горючие слёзы и решила, что единственный по-настоящему дорогой мне человек на этой земле бесстыдно предал меня. Я сказала ему:

– Ах, так! Ну и ладно, я вырываю тебя из своего сердца!

Но это была несусветная чушь. Папу я забыть не могла. Я и умершим-то его не считала: ну, ушёл куда-то... за своей любимой... Что поделаешь – его воля!

Я не умела долго обижаться. Тем более, на любимого папу.

Тётка увезла меня с собой в Питер, где я окончила школу, но поступать я приехала домой, в Москву.

### *Двадцать шесть лет тому назад*

Мне понравился Антон. И мне очень захотелось понравиться ему.

Я вела себя с ним, как когда-то с мамой – заискивающе смотрела в рот и реагировала преувеличенно восторженно на всё, что он говорил.

Дора, улучив минутку, прошипела:

– Что ты перед ним пластаешься!

Я возмутилась:

– Но он мне действительно интересен!

– Женщина должна быть загадочной, – сказала она.

С этого дня началось моё воспитание Дорой. Теперь я слушала, раскрыв рот, уже её. Я оказалась способной ученицей, сама Дора это отмечала – дважды мне ничего не требовалось повторять. А в жизнь теорию я претворяла сходу. Вероятно, практика последних лет общения с мамой – а это было постоянное лавирование в напряжённой ситуации с целью удержать её в состоянии пусть хрупкого, но мира – эта практика, принятая подсознательно, благодаря

инстинкту самосохранения, выработала во мне навыки мгновенного анализа обстановки, её оценки и выбора нужной тактики поведения.

Правда, меня несколько озадачивала необходимость «семь раз отмерить» – то есть, подумать, прежде чем сказать что-то или сделать – когда дело касалось отношений с человеком, который тебе безразличен. Ну для чего, спрашивается, напускать на себя равнодушный вид при встрече с Антоном, если я рада этой встрече!

– Доступные женщины быстро становятся скучны мужчине, – увещевала подруга.

Что подразумевается под «доступной женщиной», я представляла себе весьма смутно, но наскучить Антону я уж никак не хотела.

Мы продолжали встречаться с Антоном и после отъезда наших тётушек. Иногда мы приходили в его театр. Антон позволял нам невообразимое: сидеть в глубине зала на святой святых творческого процесса – на репетициях. Иногда он приглашал нас к себе. Чаще мы бывали у него вдвоём, но порой и в компаниях – похожих на ту, в которой мы оказались впервые в его доме. Это были интересные, серьёзные люди, которые умели, тем не менее, из всего сотворить шутку, устроить неожиданный розыгрыш. Но и когда они вели свои оживлённые разговоры на темы, в которые мы не были посвящены, нам не становилось скучно. Да и Антон не позволял себе надолго пренебрегать нами. И, конечно же, нам, молокососам, льстило внимание взрослого человека и отношение на равных его коллег и приятелей.

Дора жила у родственников, но иногда ночевала у меня. Я теперь осталась одна в большой трёхкомнатной – старинной, как я всегда считала – и тоже совершенно московской квартире.

Однажды она спросила:

– У тебя уже был мужчина?

– Что ты имеешь в виду? – Не поняла я.

– Ну... ты уже спала с женщиной?

– Да сколько угодно! Я с папой спала, когда мама уезжала.

Дорино лицо стало красноречивей любых слов или звуков.

– Ты что, серьёзно? – Сказала она после долгой паузы.

– Да, а что тут такого? – Я всё ещё ничего не понимала.

– Ты спала с ним, как... как женщина с женщиной?

Я рассказала Доре, как я спала с папой.

Тогда её лицо отразило безысходную кручину, которая овладевает человеком при взгляде на скорбного головушку.

– Ты что, полная дура или разыгрываешь меня?

– Я отвечаю на твои вопросы.

– Стой, ты что, не знаешь, чем мужчина и женщина занимаются в постели?!.

### *Моё детство*

Когда мне было лет пять–семь, в подвале нашего дома жили дед и баба – дворник с дворничихой.

Они слыли пьяницами, но работу свою выполняли безукоризненно. Подъезд наш всегда сиял чистыми полами, подоконниками и стёклами огромных окон. Двор тщательно выметался и поливался летом, и песок в детских песочницах поутру представал в виде египетских пирамид в миниатюре. А зимой аккуратно расчищенные от снега и наледи дорожки исправно посыпались солью.

Пили дед и баба по вечерам, после работы, закрывшись в своей комнатке, и после этого уже не появлялись на люди. Разве только очень редко кто-то из них выходил в гастроном, что

был в квартале от нашего дома. Он или она тенью проскальзывали мимо взрослых, частенько стоявших на крыльце в хорошую погоду, и мимо нас, детворы, играющей то в «штандер», то в «вышибалы», то в «казаков-разбойников». Со взрослыми они поспешно вежливо здоровались, а на нас не смотрели и старались поскорей миновать, хоть и знали, что вслед непременно полетят смешки и улюлюканье.

– Пьяницы! Пьяницы! – Кричали разгорячённые и возбуждённые игрой мальчишки, и некоторые девчонки подхватывали: – Пьяницы! Пьяницы!

Так они и звались – «пьяницы». Я даже не помню – знала ли их имена.

Мама тоже иногда презрительно что-то говорила о ком-то из них, или о двоих сразу:

– Эта пьяница...

Или:

– Эти пьяницы...

И далее, например:

– ...никак не удосужатся поменять перегоревшую лампу на первом этаже!

Или:

– Эти пьяницы третий день не могут починить форточку на нашей площадке!

Я ничего не имела против них – ни двоих, ни по отдельности. У меня не получалось улюлюкать им вслед, а даже наоборот – хотелось защитить этих тихих, старающихся быть как можно незаметней, трудолюбивых и ответственных мужчину и женщину. Но я не решалась оборвать всеобщий гвалт и всякий раз, оказываясь свидетелем травли, изнывала внутри себя от жуткого стыда – за жестокосердных подростков перед этой парой, за «пьяниц» перед сверстниками и за собственное бессилие перед одними, перед другими и перед самой собой. Но это пришло ко мне чуть позже.

А когда они только появились в нашем подвале, в нашем дворе, ребята повзрослей как-то позвали нас, малышню, посмотреть, как дед с бабой... – далее следовал по-детски искажённый непечатный глагол в третьем лице множественного числа.

Мы подкрались к расположенному на уровне тротуара незанавешенному окну их убогой каморки. В ней стоял недавно выкинутый соседкой тётей Розой двухтумбовый письменный стол, пара разномастных обшарпанных стульев, этажерка и табурет с обломанным сверху, но живым фикусом – всё это тоже, вероятно, в разное время выносилось кем-то на помойку. В углу, напротив окна, висела белая раковина с чёрными язвами отбитой эмали, над ней из стены торчал начищенный медный кран. Под раковиной стояло ведро с крышкой, тёмно-зелёное в серо-перламутровых брызгах – совсем такое же, как большой кувшин у нас в ванной, из которого меня поливали в детстве, пока не появился душ – мягкое и тоже с отбитой местами эмалью. Некоторые говаривали, что им доводилось видеть, как дед и баба писают в это ведро. Надо сказать, что «деду» и «бабе» навряд ли было больше тридцати пяти-сорока...

В поле нашего зрения попала часть металлической кровати с серым полосатым матрацем и две пары дрыгающихся на нём ног. Потом дрыганье прекратилось, мы ждали-ждали, но ничего больше не происходило, и мы разошлись.

После этого я ещё не раз участвовала в подглядывании за непонятными мне действиями, но, в отличие от остальных, ни восторга, ни просто интереса к происходящему не испытывала.

### *Двадцать шесть лет тому назад*

– Ну да, – сказала Дора, – только у пьяниц и ханыг это не так красиво и романтично.

– А у тебя уже было... ну... с женщиной? – спросила я.

– Тоже нет, – сказала Дора, – но к этому надо готовиться.

– Как это? – Заинтересовалась я.

– Изучать своё тело, узнавать, что ему приятно, а что нет, какое место наиболее эффективно, а какое следует прикрывать.

– Как это?..

– Раздевайся, – сказала она.

– Совсем? – спросила я.

– Совсем.

Я разделась, она тоже.

– Грудь хороша, – сказала Дора, – запомни, это твоё наибольшее достоинство.

– А я думала, – сказала я, – что она слишком мала, для того, чтобы быть достоинством.

– Не думаю, что Антону понравится коровье вымя! Он человек утончённый, а не мужлан какой-нибудь деревенский. Та-ак, – сказала она, поворачивая меня кругом, – попка у тебя тоже хороша: маленькая и аккуратная... талия в порядке... ноги... вот только не косолапь, следи за походкой. И не сутулься!

Дора показала мне приём выработки правильной осанки и изящной походки – со стопкой книг на голове.

Потом она заставила меня беспристрастно и критично оценить её собственные достоинства и недостатки.

Я не могла быть беспристрастной, и тем более – критичной. Дора – моя подруга, единственная за всю мою жизнь подруга. Как я могу сказать ей, что у неё слишком короткие ноги и слишком узкие для её бёдер плечи?..

– У тебя здоровская талия, – сказала я.

– Дальше, – сказала Дора.

– И ужасно прямая спина, мне такой в жизни не сделать!

– Критики не слышу, – сказала Дора.

– Да у тебя всё так классно и правильно!..

– Ну, ладно – Дору, видимо, вполне устроил разбор её фигуры по косточкам в моём исполнении. – Переходим к следующему этапу. Гладь себя здесь, – сказала она и стала гладить свою грудь.

– Ничего...

– Давай я, – сказала она.

Когда гладила она, было щекотно. Ещё щекотно было по бокам живота, на шее и спине.

– Это твои эрогенные зоны, – сказала Дора.

– Угу, – кивнула я с понимающим видом.

Я удивлялась: откуда всё это может быть известно моей ровеснице, девчонке, как и я, игравшей чуть ли не до десятого класса в куклы? Девчонке, жившей вовсе не в столице, а где-то за лесами и долами – тогда мне казалось, что любой город, в который нужно ехать поездом, а не электричкой, это несусветная дальняя даль. Откуда в Ярославле можно было узнать обо всём *этом*?..

Да, тогда я была искренне уверена, что все знания сосредоточены только в одном месте – в Москве...

Сколько же раз потом я посмеюсь над той собой, когда, встречаясь с людьми, родившимися и прожившими на невесть каких дальних «окраинах империи», буду поражаться их разносторонности, эрудиции, духовности!..

– А здесь ты себя когда-нибудь трогала? – и она коснулась моего паха.

Я вздрогнула от знакомого ощущения и сказала небрежно:

– Так, иногда.

\* \* \*

Мне не хотелось рассказывать Доре – не знаю уж, почему, – о том далёком лете в Крыму, о моей первой любви, о первом поцелуе... о потере невинности, короче... если это можно, конечно, так назвать.

Мне было тринадцать. Моя душа была тогда подобна цветочному бутону, которого вдруг, одним прекрасным утром, коснулись лучи солнца, и тот принялся стремительно разворачивать лепесток за лепестком навстречу зовущему неведомому. Что-то лопалось внутри, что-то прорастало, причиняя боль – острую и сладкую. А я не успевала за этими происходящими в непонятной ещё себе самой непонятными переменами и томилась ожиданием неведомого чего-то, что изменит или дополнит... или уж не знаю, что ещё сделает с моей жизнью... Но что-то, что-то обязательно должно было произойти! Иначе не выжить!..

Неистовый стрёкот цикад заполнил воздух. Он и был, казалось, самим воздухом, вибрирующие атомы которого издавали этот звук. И ещё они источали густой дурман ночной фиалки, маленькие, не слишком выразительные цветки которой раскрывались только с наступлением сумерек. Да, таким и был ночной южный воздух: стрёкот цикад и аромат фиалки. Он кружил голову, баламутил душу и лишал покоя. Хотелось куда-то бежать и чего-то искать. Амок.

Вот так вот однажды, в едва обозначившихся сумерках – нет, не сознания, всё же, а в бархатном предвечерье южного города – движимая этим неосознанным порывом, я вышла за ворота дома, где мама с папой на открытой кухне готовили к ужину чебуреки, и направилась к пустырю невдалеке от нашего дома. Там окрестная ребятня играла в лапту. Я села на тёплый валун под одинокой одичавшей яблоней.

По сей день я не любитель активного отдыха и подвижных игр, и тогда не слишком-то любила участвовать во всей этой возне и беготне с визгами и криками. Но правила лапты я знала, поэтому следить за ней мне было интересно. Команды, видимо, только-только поменялись местами, и начался новый кон. Паша, сын наших домохозяев, стоял в *городе* на изготовке – на полусогнутых ногах, с лаптой, отведённой для удара. Я смотрела на него и ждала, когда подающий подбросит мяч в воздух, а Паша развернётся, как взведённая и спущенная со стопора пружина, и лупанёт по мячу. Да так сильно, что, кажется, мяч должен будет с треском разорваться в клочья... Я знала, как Паша умеет бить. И он ударил. Раздался громкий «чпок!», и мяч улетел далеко за линию *кона*. С Пашиных ударов *свечу* фиг поймает, не надейтесь! И ещё с его удара можно едва ли не пару раз сбегать в *дом*.

Да, подумала я, Паша здесь самый... самый... Самый – какой? Я не находила определения, но сердце почему-то при этой мысли заколотилось, словно съехавший с рельсов поезд.

Это было что-то новое для меня. Я вгляделась в давно знакомого мне пацана. Голубая вязаная майка с мелкими дырочками, словно простреленная дробью, явно с отцовского плеча – дали донашивать в экстремальных условиях мальчишечьих игр, – заправленная в синие треники, которые закатаны выше колена, чтоб не мешали бегать, и потрёпанные китайские полукеды на босу ногу. Вот и весь прекрасный принц Паша. Да, и ещё соломенный ёжик с двумя макушками и зелёные глаза в густых пушистых, тоже соломенного цвета, ресницах.

Он был старше меня на пару лет. Точно, в том году он перешёл в десятый класс и собирался после него поступать в мореходное. И поступит. И больше я его никогда не увижу.

А пока было лето, вечер и свалившаяся на меня, сидящую под яблоней, первая, совершенно внезапная и оглушительная, любовь. Я не знала только, что с этим делать. Что делать с колотящимся о рёбра в ритме шаманского бубна сердцем, с мутящимся рассудком и неодолимым желанием куда-то бежать...

Кон доиграть не успели – стемнело. Стемнело стремительно, как это бывает на юге, и мяча уже не стало видно. Ребята принялись спорить, во что ещё поиграть, пока всех не загнали по домам – в прятки или в салки. А я так и сидела на камне, глядя на Пашу.

Вдруг до меня дошло, что Паша направляется в мою сторону. Подошёл. Встал рядом.

– Чего не играешь? – Спросил он.

– Неохота.

– Пошли, погуляем?

– Пошли.

Тут я услышала папин голос:

– Зоя! Кушать!

– Давай, сперва чебуреков поедим, – сказала я Паше, – а потом пойдём гулять.

– Давай.

Мы поужинали и отпросились до десяти часов. К морю меня не отпустили, даже с надёжным Пашей, и мы сказали, что будем на пустыре.

Исходили в пароксизме эмоций цикады, ночные фиалки, высаженные на клумбах у каждой калитки, истово точили колдовские флюиды, но меня уже никуда не тянуло, мне было хорошо там, где я была – рядом с Пашей.

С того вечера мы были вместе. Паша даже стал ходить с нами на море, хотя прежде считал это самым глупым занятием на свете, подходящим только для приезжих бездельников: притащиться на городской пляж и лежать там часами на песке, ничего не делая. Уж если проводить время на море, считал Паша, то идти нужно куда-нибудь в дикое место, где можно понырять со скалы, наловить рыбы или креветок и жарить их потом на костре, на раскалённых огнём камнях.

С Пашиным появлением на пляже посёлка Айвазовское его обитателям стало заметно веселее. Паша не пожелал бездельничать, и мы с ним и с папой строили замысловатые песочные замки – каждый день новые – украшали их мозаикой из ракушек, выкапывали озёра и ведущие к ним от моря каналы, в озёра эти селили рачков-отшельников, которых ловили и таскали нам в резиновых купальных шапочках все, кому было не лень – и детвора, и их родители.

Когда надоело возиться со строительством, мы с Пашей уходили по кромке воды за сетчатое ограждение с надписью «Проход строго воспрещён!», уединялись там на сваленных в кучу железобетонных блоках, защищавших от прибоя стоящие поодаль огромные цистерны с нефтью или чем-то таким, и вели свои нескончаемые разговоры обо всём на свете.

С того самого вечера Паша перестал играть в обычные вечерние игры на пустыре за домом, и мы с ним или гуляли по улице из конца в конец, или сидели где-нибудь на смолистой тёплой поленнице, которую ещё не успели разделать на чурбаны и пустить под топор.

Как-то мы забрались на крышу сарая, стоящего среди фруктового сада и сразу полюбили это удивительное место, этот необитаемый остров, дрейфующий в волнах густых зелёных крон, с бесконечным космосом над ним, до отказа набитым звёздами.

Однажды Паша взял меня за руку и, не глядя на меня, очень по-взрослому спросил:

– Ты уже целовалась с мальчишками?

– Нет, – ответила я и вмиг разволновалась. – А ты?

– Я?.. Было дело. – Сказал он небрежно чуть охрипшим голосом и замолчал.

Мне хотелось сказать ему: «Поцелуй меня» – но я не решалась. Хоть я и знать не знала, как, а главное – для чего это делается. А мне так хотелось, так хотелось... Наверное, очередной раскрывшийся лепесток бутона ведал именно этой стороной отношений полов.

– Хочешь, я тебя поцелую? – Может, Паша услышал мои мысли?..

– Да... Хочу.

Он повернул к себе моё лицо и коснулся губами губ.

Я не знала, что нужно делать дальше, и нужно ли. Но было приятно ощущать, как его губы, подрагивая, захватывают мои, сжимают их. Потом Пашин язык проник в мой рот так настойчиво, что пришлось разомкнуть зубы.

Не хватало воздуха, и я резко отстранилась и часто задышала, переводя дух.

– Дыши носом! – Сказал Паша и снова вцепился губами в мой рот.

И точно – оказывается, можно было играть языками, как угодно долго, спокойно дыша при этом через нос. Правда, спокойно дышать уже не получалось – почему-то такие *поцелуи* волновали ещё больше, чем запахи и звуки окружающего мира.

Пашина ладонь легла мне на грудь. Потом сдавила её. Потом попыталась пролезть внутрь через вырез сарафана. Я, не отрываясь от приятного занятия, перехватила Пашину руку и показала ей более простой путь – снизу, под подолом.

Когда я ощутила кожей шершавую горячую ладонь, и когда Пашины пальцы сжали мой сосок, я едва не лишилась чувств.

Паша был таким же невинным романтиком, как и я. Хотя, в отличие от меня, тепличного городского квартирному растения, вырос он на улице и был гораздо старше, чем я – не так годами, как опытом. Он вполне мог тогда довести дело до логического завершения, и я бы не противилась. Но он остановился.

– Всё, больше не надо... – прохрипел он и оставил меня.

– Почему? – спросила я.

– Ну, ты же ещё этого не делала?.. – Это был полувопрос, полуутверждение.

– Чего – *этого*? – Спросила я.

– Ну вот... – Паша сдавленно засмеялся, – спрашиваешь, значит, не делала... значит, не знаешь...

– Знаю. – Как я догадалась, *что* должно последовать дальше? – Знаю.

Паша молча смотрел на меня в темноте.

– Знаешь?.. Откуда?..

– Я сама так делаю...

– Как?..

– Дай руку.

Паша послушно протянул мне руку. Я положила её туда, где уже бушевала стихия. Её нужно было немедленно укротить, иначе... Иначе смерть.

Наверное, всё-таки, Паша знал и умел нечто другое, но он быстро понял, что нужно здесь и сейчас. Я легла, задрала сарафан, сдвинула резинку, он склонился надо мной и жадно смотрел мне в лицо. Его пальцы были такие же чуткие, как мои собственные.

Мы ещё много раз делали это, почти каждый вечер – если только я оставалась дома, а не шла с родителями в кино или гулять на набережную.

Почему же я разлюбила Пашу, как только тронулся поезд, уносивший меня домой, в Москву?

Потому, что он не осмелился повести меня дальше?.. Но – честное слово! – я тогда не знала ещё, что именно бывает дальше. Чем занимались мама с папой там, в том же сене, что и мы с Пашей? Тем же, чем и мы с Пашей?.. Нет, скорей всего, чем-то другим, понимала я.

Или потому что он как раз *сделал* то, что сделал?.. Эдакая неосознанная месть взявшему – пусть и добровольно отданную – мою невинность?.. Да, до Паши я была невинна душой, а *после* него невинным оставалось только тело. Да и то – как ещё посмотреть...

А может, всё тот же добрый ангел – инстинкт самосохранения – вмешался? Взял да и отключил источник бессмысленных переживаний, никчёмных ожиданий, иссушающей тоски. Он-то знал, что я больше никогда не увижу Пашу – зачем страдать по тому, чему не судьба сбыться? Значит, Паша не был моей судьбой!..

\* \* \*

– Ласкай меня, а я буду тебя. – Дора проявляла деловитость и сосредоточенность.

Мы легли, и она научила меня более изысканному способу, нежели мой собственный, удовлетворения просыпающейся плоти.

Мы делали это не часто. Думаю, назвать это лесбийскими отношениями нельзя – наши души не участвовали в получении телесного удовольствия.

\* \* \*

Как-то на одной из вечеринок у Антона мы танцевали с ним, и я вдруг почувствовала, что его рука не просто лежит на моих лопатках, а едва заметно гладит их – то перебирая пальцами, то прижимаясь всей ладонью.

После короткого совещания Дора заявила:

– Он тебя хочет.

– Что, раздеть? – не поняла я.

– Ну, и раздеть тоже, – сказала она. – Он хочет лечь с тобой в постель.

Когда Дора сказала «лечь в постель», я не знала, что она имеет в виду: лечь, как мы с папой лежали, или – как дед с бабой? Мне, конечно, больше нравилось, как мы с папой, но я уже начинала понимать, что взрослые мужчина и женщина ложатся в постель для того, чтобы делать то, на что мы ходили смотреть в подвальное окно.

Моя романтическая натура упорно не желала принимать данный вид взаимоотношения полов – неужели без *этого* нельзя обойтись?!

– Дура, – сказала Дора, – это может быть и красиво и романтично, ты что, в кино не видела?

Но в кино кроме поцелуев ничего не показывают.

И вдруг я вспомнила странную возню мамы и папы на чердаке в соломе и яблоках, их изменившиеся голоса.

– Это уже ближе к делу, – заключила она. – Мужчина и женщина делают это для удовольствия.

И она рассказала в наиболее доступной для круглых тупиц форме, что и как они делают.

Можно ли представить себе, что потом, в момент, когда я и мой возлюбленный подошли к той самой черте, которую переступают лишь раз в жизни, я стала бы вспоминать Дорин ликбез?..

\* \* \*

На годовщину смерти мамы с папой приехала тётюшка.

Она знала, что мы – я и Дора – подружились между собой и с Антоном, и пригласила его на скромные тихие поминки.

Тётюшка уезжала на следующий день, и мы с Антоном поехали провожать её на Ленинградский вокзал. А потом Антон поехал провожать меня.

– Зайдём? – спросила я на крыльце своего дома.

Он не отказался.

Мы сидели на кухне, пили вино и говорили.

Меня вдруг понесло по детству. Я стала рассказывать про папу, про нашу с ним дружбу. Я плакала от ощущения потери, от выпитого вина и смеялась, когда вспоминала что-нибудь забавное. А потом опять плакала.

Я уже давно не испытывала обиды на моего любимого папу за то, что он оставил меня одну-одинёшеньку на произвол судьбы. Я любила его и тосковала по нашему общению, как тоскуют по тому, чего уже никогда, никогда не вернуть – светло и легко.

– Будь моим папой, – вдруг сказала я Антону.

Антон посмотрел на меня удивлённо, а я стала горячо объяснять ему, как нам будет здорово вместе: я хорошо готовлю, умею стирать и гладить любые самые сложные вещи.

– Ты живёшь один, – говорила я, – у тебя много работы, я буду заботиться о тебе, как заботилась о папе.

Удивление в его глазах сменилось ожиданием развязки: то ли это розыгрыш, и я прикидываюсь дурочкой, то ли таковой и являюсь.

– Ты не хочешь? – спросила я.

– А ты не думаешь, – ответил он вопросом на вопрос, – что у меня есть женщина?

– Которая стирает и убирает? Так уволь её! Я буду делать всё бесплатно!

Он онемел.

– Ты имеешь в виду домработницу, так ведь? – уточнила я.

– Нет, – пришёл он в себя, – жену.

– Да нет у тебя никакой жены!

– Откуда ты знаешь?

– Я же её ни разу не видела!

Антон так захохотал, что я тоже не выдержала, хоть и не знала, над чем смеюсь.

Когда мы успокоились, он опустил голову, помолчал, а потом произнёс:

– Мне кажется, я к тебе привязался.

– Правда? – удивилась я.

– Правда. – И он посмотрел на меня очень серьёзно. – Но ты такая глупышка, что я просто не представляю, как с этим быть.

Я потупила взгляд. Я не знала, как расценивать его слова. Обижаться мне не хотелось, да и не очень-то я это умела. И произнёс их Антон вовсе не обидным тоном, а даже как-то ласково...

– Вот побудь моим папой, повоспитывай меня, – сказала я и посмотрела на Антона.

– Хорошо! – ответил он неожиданно легко.

– Правда? – обрадовалась я. – Прямо сейчас?

– Прямо сейчас, потому что идти мне некуда, уже второй час ночи, и метро закрыто.

– Ура-а-а-а, – тихо проскулила я, глядя счастливыми глазами ему в глаза.

Я принялась убирать со стола и мыть посуду.

– Ура-а-а, – напевала я себе под нос, но иногда не выдерживала и при взгляде на Антона взвизгивала: – Ура-а-а!

Он смеялся и качал головой.

– Сейчас я тебе постелю, где ты ляжешь? – Я уже стала деловитой, заботливой хозяйкой дома. – Ты можешь лечь в гостиной на диване, можешь в родительской спальне, а можешь в моей комнате, я там уже год не живу, я сплю у мамы с папой.

– Ну и задачка, – сказал он. – Где посоветуешь?

– У родителей очень хорошо спится. Ты можешь лечь со мной, мы без мамы всегда спали с папой вдвоём.

Он усмехнулся:

– Ну что ж, если я должен быть твоим папой, пусть будет так, как было у вас.

\* \* \*

Доре я рассказала по телефону всё на следующий же день.

– Ну, ты даёшь! – сказала она, – и что, вы спали вместе?

– Да! Только не так, как с папой.

– А как?!

– Под разными одеялами.  
– И он не приставал к тебе?  
– Нет, не приставал! – Сказала я с гордостью, хотя, скорей всего, это было очко не в мою пользу. Но я гордилась Антоном.

Прошло несколько недель. Мне нравилась наша жизнь – мы жили на два дома: то у меня, то у Антона.

Я обожала его. Мне было бесконечно интересно с ним.

Сколько себя помню, я всегда проявляла жадность ко всему новому и неизвестному. Я была ненасытной девочкой – меня увлекало всё и вся. Мой любимый вопрос был: «почему?» – я должна докопаться до всех корней и деталей. Моя любимая реплика: «расскажи!» – я должна немедленно узнать то, чего ещё не знаю. Я буквально пиявкой присасывалась ко всем, кто казался мне хоть чем-то занятым.

С Антоном мне было ещё и привычно – словно вернулись времена беззаботного детства, точнее, той части моего детства, в которой существовали только папа и я. И именно то обстоятельство, что с приходом Антона в мой дом забот как раз прибавилось, сделало мою жизнь привычной во всех отношениях – оно наполнило её смыслом. В моём понимании жизнь имеет смысл, только если рядом есть человек, о котором ты можешь и хочешь заботиться.

Я отстранила Антона от всяческого рода самообслуживания. Я с усердием следила, чтобы в наших квартирах царили чистота и порядок – ведь они обе служили нам домом. Чтобы в каждой квартире всегда было, из чего приготовить поесть – это давало нам дополнительную степень свободы и позволяло не привязываться к обстоятельствам, а руководствоваться исключительно настроением.

Моя учёба шла как-то сама собой, при этом я являлась примером всему курсу и получала повышенную стипендию. Чтобы Антон мог оставаться доволен своим выбором, чтобы он ни в чём не испытывал неудобства, я готова была не спать и ночами. Но этого не требовалось – я всё успевала в своё время.

В первые дни, даже недели нашей жизни с Антоном я несколько раз ловила себя на том, что нет-нет, да и зашевелится какая-то смутная тревога в моей душе. Я замирала, и словно сканировала пространство – откуда же, из какого угла потянуло вдруг досадным, унылым сквозняком?.. А потом понимала, что это моя глубинная память с опаской ждёт момента, когда безмятежному миру и сладостной гармонии придёт конец. И внезапное осознание того, что уже нет мамы, которая может нарушить этот покой, всякий раз делало меня ещё более счастливой.

То ли постоянное присутствие мужчины рядом, то ли естественный процесс взросления заставляли меня всё чаще задумываться над тем, сколько же это может длиться – такое вот дружеское сосуществование.

Я начинала всё чаще испытывать волнение не только рядом с Антоном, а даже при воспоминании о нём. Когда я пыталась снять напряжение проверенным способом, у меня ничего не получалось, мне не хотелось этого делать. Мне хотелось, чтобы это сделал Антон.

Антон же вёл себя со мной безукоризненно по-отцовски. Конечно, мы оставались друзьями – мы говорили и спорили, смеялись и делились новостями, огорчениями и радостями. Мы подолгу болтали ночами, лёжа на одной широкой постели. Как когда-то папа, Антон приобщал меня к неведомому миру – теперь это был мир театра.

\* \* \*

Однажды Дора повела меня на известный – как теперь говорят, *культовый* – французский фильм. Фильм о любви.

– Я хочу, чтобы у нас вот так же было с Антоном, – сказала я.

- А он больше не говорит тебе о том, что влюблён?
- Нет, ведь он согласился быть мне отцом!
- Дура ты! – в который раз услышала я от подруги. – Антон просто благородный! Думаешь, если он стал тебе отцом, так он мужчиной перестал быть? Соблазни его!
- Это ты дура! Я ни за что не променяю нашу дружбу на какую-то там животную физиологию!

Мы обе были набитыми дурами. Тогда мы представить себе не могли, что самые ценные любовные отношения могут быть только при глубокой дружбе, а дружба, скреплённая обоюдным физическим удовольствием – это ни с чем не сравнимая по силе и полноте связь.

\* \* \*

После весенней сессии мне предстояло уехать на трёхнедельную практику в Вологодскую область – собирать тамошний фольклор.

Я так не хоронила папу, как расставалась с Антоном. Я выла и ночью, засыпая ещё рядом с ним, и днём, когда он уходил на работу.

– Я умру на другой же день, – говорила я, – я несколько часов и то с трудом без тебя обхожусь.

– Ты будешь звонить мне каждый день, и мы будем разговаривать, сколько захочешь, – говорил он.

– Это, конечно неплохо, но слишком дорого, – хлюпала я.

– Придётся выбирать одно из двух, практичная ты моя! – смеялся Антон.

– Ты ещё смеяться можешь! – я разражалась новым приступом рыданий.

– Я не смеюсь, – говорил он, – я пытаюсь придумать, что с тобой делать, как тебя утешить. Ведь ты не в другую галактику улетаешь, а за каких-то пятьсот вёрст, и не навсегда, а всего на три недели.

– Всего!.. – передразнивала я его. – Это тебе, может, «всего», а мне не «всего»...

– Я вот в армию уходил аж на два года, а это, знаешь ли, семьсот тридцать дней и ночей! Да на другой конец Советского Союза, за семь тысяч километров. – Он сделал паузу и продолжил: – Тут уж, по крайней мере, понятно, почему меня моя девушка не дождалась.

Я умолкла и посмотрела на Антона. До меня дошла истинная причина моих слёз. Но первое, что я ответила на это, было:

– Расскажи!

\* \* \*

Однажды под Новый Год – Антон учился на последнем курсе – в пригородной электричке он познакомился с девушкой и влюбился в неё прямо с первого взгляда. Девушка была маленькая и тоненькая – даже в своей пушистой кроличьей шубке – и казалась хрупкой и незащищённой в толпе рвущихся к дверям пассажиров. Антон помог ей войти в вагон, посадив на подножку, и поддержал в тот момент, когда какой-то пьяный дядька едва не повалился на неё в тамбуре.

Сидячих мест им не хватило, и Антон, пристроив девушку в углу у входа, загородил её собой от толчеи. Она не была особенно разговорчива, но, видно, из благодарности за заботу, отвечала на вопросы Антона – односложно, но вежливо.

Ехали они около сорока минут. За это время Антон узнал, что девушку зовут Оля, что она живёт в Пушкино, а учится в энергетическом институте на втором курсе.

– Что может быть общего у такой хрупкой девочки с циклопическим планом ГОЭЛРО? – Спросил Антон с улыбкой.

Девушка тоже улыбнулась и сказала, что её профиль – финансы, а не гигантские турбины.

Прощаясь, Антон выпросил у Оли свидание и без особой надежды пришёл в условленный день и час к Музею Изобразительных Искусств имени Пушкина. За пазухой у него приютилась маленькая белая розочка.

Оля пришла вовремя, чем приятно удивила Антона – не тем, что вовремя, а тем, что пришла. Они часа три пробродили по залам музея, делясь друг с другом своими любимыми художниками и впечатлениями от их картин. Потом, проголодавшись, съели в кафетерии поблизости по две порции сосисок, запили их кофе с пончиками и расстались на платформе около Олиной электрички.

Новый Год они встречали не вместе, но вечер первого дня наступившего тысяча девять-сот шестьдесят седьмого провели вдвоём.

\*

– Надо же, – сказала я, – я ещё пешком под стол ходила, а ты уже любовь с девчонками крутил!

– Это была первая девчонка, с которой я, как ты выражаешься, крутил любовь, – сказал Антон.

– Ты что, до двадцати с лишним лет ни разу не влюблялся? – удивилась я.

Антон как-то слишком долго смотрел в стену напротив – даже, скорей, *сквозь* неё.

– Только один раз, – сказал он таким голосом, что я почему-то не решилась настаивать на подробностях этой истории.

– А что с Олей? – Меня разбирало любопытство, чем всё закончилось.

\*

С Олей они подружились и встречались довольно часто – насколько, конечно, позволяли им занятия в институтах.

А потом Антон получил диплом и повёл Олю в «Прагу». А после провожал до электрички. Там и поцеловал её в первый раз – на перроне, под тёплым летним дождём.

\*

– А знаешь, – сказал Антон ни с того, ни с сего, – вы с ней чем-то похожи.

– Да? Чем?

– Цветом глаз... Нет, не только... Надо же, я думал, что совсем забыл, как она выглядела.

Когда я пересказывала Доре историю Антона, я отметила и эту деталь – не без удовольствия, скажу честно, мною воспринятую. Мне в голову не пришло задуматься, почему наше сходство с девушкой, в которую когда-то был влюблён Антон, доставляет мне удовольствие.

Дорина реакция была как ушат ледяной воды.

– Лично я ни за что не позволила бы мужчине сравнивать меня с какой-то другой женщиной! – Отчеканила она с осуждением в голосе.

Кому было адресовано это осуждение: Антону за то, что он *сравнил*, или мне за то, что я *позволила* – я не понимала.

– А что тут такого?.. – пролопотала я. Вероятно, в тот момент я очень походила на школьницу, упустившую важную подробность в объяснении учителя.

Дора только многозначительно посмотрела на меня и фыркнула. Но и этот взгляд не сумел ответить мне на вопрос: почему я должна позволять что-то или не позволять чего-то любимому человеку? И я так и не поняла, что плохого в том, что я похожа на когда-то любимую Антоном девушку?..

\*

На лето Антон уехал к родителям в Ялту, и пригласил к себе Олю. Она приехала почти на целый месяц после окончания практики.

Потом они вернулись в Москву. Оля продолжила учёбу, а Антон приступил к работе в одном не слишком известном московском театре.

Осенью его забрали в армию. Оля сказала только, что будет писать. Разговоров на тему будущего она не любила, и на робкий вопрос Антона: «ты меня дождёшься?» – уклончиво ответила, что в ближайшие два года умирать не собирается.

О том, что у неё есть парень, который должен вернуться из армии будущей весной, она, конечно, Антону не сказала.

\*

– Вот же!.. Негодяйка! – я хотела сказать более грубо, но сдержалась только из-за Антона.

– Никакая она не негодяйка, – сказал Антон, – она просто хитрая девочка.

– И что ты, не смог этого разглядеть?

– Мне тогда не хватало жизненного опыта, а тем более, в отношениях с женщинами, – сказал Антон, изменившимся, как мне показалось, голосом. – Я верил всем, как себе самому.

– А ты... и она?.. – начала я, но не находила нужных слов, – ну, вы с ней?..

Антон улыбнулся и опустил глаза.

– Нет, – сказал он, – если я тебя правильно понял, то мы с ней *не*, мы только целовались.

– А как ты узнал об этом... ну, про её парня?

– Она написала мне о нём через полгода, когда и вернулся тот парень, – сказал Антон. – Она раскаивалась и говорила, что я ей близок и дорог, что я ей очень нравился, но любит она другого, и что тот другой не сможет понять и принять нашей с ней дружбы. Поэтому она прощается навсегда.

– Так значит, и время, и расстояние были ни при чём?

– Ни при чём, – сказал Антон.

– Зубы заговаривал мне, значит!.. – Я хотела обидеться, но не нашла в себе сил на это. – Зато я поняла, почему реву... – сказала я и снова чуть не разревелась.

– И почему же ты ревёшь?

– Я боюсь, – сказала я и посмотрела на Антона с мольбой.

Мы сидели друг против друга за кухонным столом.

– И чего же ты боишься? – он улыбался.

– Не смейся! – Прикрикнула я.

– И не думаю, – спокойно сказал Антон.

– Я боюсь, что ты меня не дождёшься.

Произнеся это, я вдруг оказалась перед той самой ситуацией, которая призраком маячила в моём сознании... нет, скорей – в подсознании. Сейчас она словно реализовалась, будучи озвучена, и на меня из углов поползла пугающе холодная чёрная пустота – даже озноб пробежал по коже. Я съёжилась и закрыла лицо ладонями. И опять зарыдала.

Почему Антон не попытался успокоить меня каким-то иным образом, кроме слов – не обнял, не погладил по голове, например, просто не протянул руку и не прикоснулся ко мне?..

Теперь-то я знаю, почему.

А тогда я ждала этого, потому и ревела. Ведь так всегда делал папа в подобных случаях... Его крепкая тёплая ладонь служила самым надёжным укрытием от любой беды.

– Так, – сказал Антон строго, – завтра иду в деканат и прошу освободить тебя от практики! Причину придётся назвать без обиняков: абсолютная беспомощность восемнадцатилетней девицы и её неумение жить без родительской опеки.

– Не надо, – прогундосила я в носовой платок, – скажи только, что ты не уйдёшь к другой, пока меня не будет.

– К другой уходят мужья или любовники, а я тебе отец, как никак. – Он поднялся из-за стола. – Всё! Мне надоели твои нюни!

Я посмотрела на него снизу вверх, как щенок, которому дали поесть и пообещали ночлег: благодарно и заискивающе. Видела бы Дора!.. Но мне было плевать сейчас на все её Правила Поведения Женщин В Присутствии Мужчин.

– Ура-а-а, – пропищала я. Это заменило мне виляющий хвост.

Антон засмеялся, и, выходя из кухни, обернулся и покачал головой.

А меня осенила гениальная идея:

– Пойдём завтра сфотографируемся, я возьму карточки с собой, и мне будет не так тоскливо без тебя.

Мы пошли в ГУМ, в фотоавтомат, и нашёлкали четыре полоски карточек.

Режиссёром выступала я: я усаживала Антона и обнимала его сзади за шею, потом наоборот, потом мы сидели вдвоём в обнимку, потом я садилась к нему на колени и прижималась щекой к его щеке. Каждый кадр делался в двойном экземпляре.

Получились сплошные объятия. Но мне только это и требовалось. Я разрежала каждую полоску пополам: вышло четыре по две мне, и столько же – Антону.

\* \* \*

Я не выпускала из рук эти маленькие снимки. Я ехала в автобусе – от общежития, где нас поселили, к месту нашей «экспедиции», в деревню за шестьдесят километров, или назад, в общежитие – и смотрела на себя в объятиях Антона. Засыпая и просыпаясь, я целовала его лицо – такое любимое его лицо.

Моя однокашница как-то спросила:

– Это что, твой любовник?

Совершенно неожиданно для себя я ответила:

– Да.

По-моему, она меня сразу зауважала. А во мне словно что-то включилось: мне хотелось целовать не карточку, а настоящего Антона, мне хотелось настоящих объятий, настоящих – а не в щёчку – поцелуев...

Я мечтала об Антоне как о мужчине.

Я вспоминала его тело, его запах, его прикосновения, его голос. Я перебирала нашу не очень-то долгую – длиной в несколько месяцев – совместную жизнь, пытаюсь найти в ней хоть что-то, что обнадёживало бы: Антон всё ещё в меня влюблён.

Не знаю уж, находила ли я подтверждение этому, но сам процесс перебирания в памяти всего, что связано с Антоном, доставлял мне неопишное наслаждение. Скоро воспоминания сменились мечтами о том, что было ещё неизвестно мне – о наших возможных любовных отношениях. Хотя дальше объятий и поцелуев, как в том кино, я не заглядывала. Я ведь просто не знала, что же там, дальше: одно дело – теория, преподанная Дорой, и совсем другое – реальность...

\* \* \*

Я позвонила Антону с вокзала. Никто не отвечал. Тогда я набрала свой номер – ключи от квартиры я оставила ему.

Когда сквозь жуткий треск в трубке я услышала его голос, я чуть не лишилась чувств.

– Это я, – сказала я.

– У тебя есть в кармане что-нибудь?

- Пятёрка.
- Бери такси, я жду.

На пороге мы замерли друг перед другом. Похоже, Антон испытывал те же чувства, что и я...

Я тосковала в разлуке и думала, что ничто не остановит меня в решимости броситься при встрече ему на шею. Но теперь, когда я стояла в дверях своей квартиры, где мы были с Антоном не больше, чем друзья, папа и дочка, эта решимость улетучилась.

Войдя, я чмокнула его в щёку.

Он ответил тем же.

– Ты всё время жил здесь? – спросила я.

– Конечно, – ответил Антон, – здесь мне не так одиноко, я просто представлял себе, что ты ненадолго вышла и скоро вернёшься.

Это было так приятно услышать!.. Я уже понимала, что могут означать эти слова.

В гостиной стоял букет цветов.

– Мойся, и будем ужинать, – сказал Антон.

Я приняла душ, высушила волосы и надела банный халат. Воротник я пристроила так, чтобы чуть-чуть выглядывал живот под грудью, а сама грудь обрисовывалась бы под мягкой тканью.

– Можно я сяду за стол в халате? – крикнула я из ванной.

– Можно, – сказал Антон.

То ли мой вид, то ли мои смятённые чувства, то ли всё это вместе взятое, помноженное на чувства сидящего напротив мужчины, нагнетало напряжённость. Вино не расслабляло, еда не лезла в горло – хотя Антон и постарался.

Сославшись на трудный день и позднее время, мы решили лечь спать.

Впервые за всё время мы лежали молча.

В тишине я слышала дыхание Антона – неровное и слегка сопящее. Почему-то это страшно разволновало меня.

– Антон, – тихо сказала я.

Он молчал.

– Ты спишь?

Тишина.

– Спишь?

– Сплю, – так же тихо ответил он, – а ты?

– Я тоже, – сказала я.

Мы рассмеялись. Стало легко, как прежде.

– Я сучала по тебе, – сказала я и повернулась к нему лицом.

– Я тоже, – сказал он и тоже повернулся ко мне.

Я протянула руку и погладила его по щеке.

Он схватил её и прижал к губам.

Тогда я сказала:

– Я поняла, что люблю тебя.

– Ты всегда меня любила, глупышка.

– Нет, я люблю тебя, как мужчину, я хочу быть твоей женщиной.

Он ничего не ответил, только прикусил мой мизинец.

– Почему ты не отвечаешь, ты уже не влюблён в меня?

– Я влюблён в тебя ещё больше. Но ты ведь понимаешь, что ты мне в дочки годишься.  
– Это не имеет значения.

– Имеет.

– Нет! – крикнула я и зажгла свет в изголовье.

Антон смотрел на меня выжидающе.

Я встала на постели, одним движением скинула с себя ночную рубашку и оказалась обнажённой перед ним.

Он зажмурился и сказал:

– Прикройся, пожалуйста, и ляг.

– Я тебе не нравлюсь?.. Да?.. Ну, что во мне не так?! – мой голос срывался от обиды и подступающих слёз. – Я уродина? У меня слишком большая грудь?.. Или слишком маленький зад?

– Не говори чепухи.

– А что я такого сказала? Что?! Мне уже – страшно подумать! – скоро восемнадцать лет. – Я на самом деле несла чепуху, бессвязную чепуху: мои эмоции бежали впереди меня, я сама не понимала, что я хочу сказать и что говорю.

– Ляг, – тихо повторил Антон, – и мы поговорим.

Я легла и накрылась. Он придвинулся ко мне чуть ближе, чем мы лежали с ним обычно, протянул руку и коснулся моей щеки. Я замерла и перестала дышать.

– Ты, правда, любишь меня? – спросил Антон.

– Да. Правда.

– А откуда ты знаешь?

– Я не могу без тебя жить... ни минуточки не могу.

– Это аргумент. – Мне слышалась натянутая усмешка. – Но я вдвое старше тебя...

Пройдёт время, и ты станешь смотреть на своих сверстников...

Я не дала ему договорить:

– Дурак!..

– Не ругайся, – сказал он.

– Кретин! Что ты говоришь!? Ты что, совсем ничего не смыслишь в любви!? – Меня трясло, я готова была вцепиться ему в волосы, но сдерживалась, вытянув руки по швам.

Антон прикрыл мне ладонью рот. Я вывернулась.

– Ты оскорбил меня и мою любовь! Извинись!

– Прости, – сказал он.

– Не прощу!.. Вернее, прощу, но не сейчас...

– А когда?

– Когда ты поцелуешь меня. Это будет доказательством того, что ты относишься ко мне серьёзно.

Антон потянулся и чмокнул меня в щёку.

– Мир? – спросил он.

Я отвернулась и зарыдала.

– Ты что? Зоя! – Похоже, он испугался.

Я сквозь слёзы прохлопала:

– Так не целуют женщин... ты всё время оскорбляешь меня... я уже не ребёнок... я взрослая... я люблю тебя...

Он повернул меня к себе и крепко прижал к груди. Я снова замерла, боясь вздохнуть.

Его объятия не ослабевали, дыхание снова стало шумным и неровным. Я потянулась губами к его губам. Антон уворачивался, целуя лоб, глаза, мокрые щёки. Было горячо и невыносимо сладко.

Я осторожно высвободила руки и стала ласкать лицо Антона. Потом наши губы встретились. Я уже не ощущала своего тела: только вихрь в голове – пьянящий и неуправляемый.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.